

Глава 11. Женщины в лагере

На Кушмангортский ОЛП нас с Лёней направили спецконвоем. По тем временам это было довольно редким явлением. Спецконвоем отправляли на переследствие, на суд для получения дополнительного срока, иногда для проведения очной ставки. Для выполнения же определенной работы - только специалистов. Лёня действительно был знающим бухгалтером, хорошо разбиравшимся в тонкостях сплавных работ, а кем был я? Недоучившимся студентом, имевшим второй разряд по шахматам, сносно, по тем временам, ориентировавшимся в радиотехнике и хорошо считавшим на счётах. Со сплавными работами я был знаком лишь поверхностно, в основном, как участник молевого сплава. Мои теоретические познания в этой области были минимальны, хотя пару раз по распоряжению Умнова меня и привлекали к расчету параметров плотов. И всё же я шёл не общим этапом в неизвестность, а по спецнаряду и, значит, мне опять повезло.

Шли мы, судя по расположению солнца, на запад. Шли по занесённым снегом проселочным дорогам, охотничьим тропам, остаткам круглолежнёвых дорог. Два зека и два конвоира. Конвоиры в валенках, дублёных полушубках, с автоматами в руках. Мы с Лёней в пайпаках и лагерных бушлатах. За спиной у нас санки. На них рюкзак охранников, мой ящик из-под радиоаппаратуры и лёнин вещмешок. В вещмешке бельё и наш сухой паек. В ящике в основном книги. Но об этом Лёня узнал лишь по прибытии на конечный пункт, во время обыска на вахте, и потом долго ворчал. Шли мирно, на нас не кричали, не травили собаками. Нас не страшила неизвестность, боязнь попасть на лесоповал, на плохой лагпункт, в плохую бригаду. Правда, где-то в глубине души затаилось сомнение: а вдруг ошибка, вдруг снова на общие работы. То, что в конторе мне могли поручить работу, к которой я совсем не готов, меня не тревожило. Был уверен, что с любой конторской работой справлюсь. К вечеру первого дня пересекли соликамский тракт, по которому на север к Чердани двигались редкие грузовики. Впереди, слегка слева, над самым горизонтом, пламенело неправдоподобно большое, багровое солнце. Розовый снег прочерчен длинными чёрными тенями редких деревьев. Переночевали в какой-то деревушке. Утро встретило пронизывающим ветром, позёмкой, секущим лицо колючим снегом. Идти было трудно. Только перейдя замёрзшую Вишеру и попав в лесной массив, смогли, наконец,

свободно вздохнуть. После обеда пришли на штабной лагпункт Кушмангортского ОЛПа.

Кушмангортский ОЛП по тем временам был высокомеханизированным лесозаготовительным предприятием. Здесь внедрялись механические пилы Ваккоп и К-5, трелёвочные трактора КТ-12 и трелёвочные лебёдки. Лес на нижний склад к Каме вывозили по узкоколейной железной дороге. В составе ОЛПа пять лагпунктов-командировок: Штабная, где находилось управление ОЛПом; Головная, обслуживающая нижние склады; Тракторная, расположенная на тракте Бандюг-Чердынь и выполнявшая в те годы ту же роль, что и командировка Волим в Березовском ОЛПе. Наконец, две лесозаготовительные командировки: Лесная и Северная.

Участок, на котором располагалась жилая зона Штабного лагпункта, имела заметный наклон с севера на юг. Поэтому весной снег в зоне таял раньше, чем вне неё, а в прикрытых от северных ветров местах подснежники появлялись раньше, чем в лесу. Вахта располагалась на западной стороне зоны, ближе к её верхнему краю. От вахты, деля территорию зоны на две не совсем равные части, шел наш лагерьный «проспект» – линейка развода. По обе стороны, перпендикулярно к нему, располагались бараки.

Первый от вахты барак справа - административный. Располагалось в нём Управление ОЛПом. Барак был несколько выше других, а его окна просторнее. В северной его половине, расположенной ближе к вахте, размещалась плановая часть и бухгалтерия. В южной - кабинеты начальника ОЛПа, его заместителя по производству, секретаря парторганизации и УРЧ (учетно-распределительная часть).

Начальником ОЛПа в год нашего прибытия был капитан Макаренко. Кадровый работник МВД, крупный, черноволосый, густобровый. Барские замашки сочетались в нём с выходками донского казака. Шумный, вспыльчивый. Полной противоположностью ему был его заместитель по производству - Фаерштейн Павел Евсеевич. Вольнонаёмный инженер, специалист по деревообработке. До войны работал главным инженером мебельной фабрики, кажется, в Бердичеве. Невысокого роста. Волосы пепельные, с рыжеватым отливом. Глаза голубые. Тихий, скромный, интеллигентный, но с достаточно твердым характером.

На третий день после нашего прибытия Лёню в соответствии с нарядом направили на лагпункт «Головной» старшим бухгалтером сплавной конторы. Мне там места не нашли, однако, не решившись совсем игнорировать распоряжение Умнова, временно пристроили статистиком плановой части ОЛПа. Разлука с Лёней меня

расстроила, но делать было нечего. Надо было радоваться, что я, хотя бы временно, избежал общих работ. Теперь многое зависело от успешности моей деятельности на новом месте.

Начальником плановой части, в которой мне теперь предстояло работать, был заключенный Янгулатов Мустафа Айнулович – узбек, высокий, худой, с бритой головой и загадочной улыбкой на тонких губах. Образованный, интеллигентный и по восточному мудрый. Лет шестидесяти. Внешне чем-то напоминал Улугбека – известного узбекского астронома и математика XIV века. До ареста руководил лабораторией какого-то НИИ в Самарканде. Помимо него в плановой части, работал Саша Фетисов – тихий, худенький, интеллигентного вида молодой человек. В те последние месяцы уходящего года они работали над промфинпланом на 1946 год. Мне же, как новичку, поручили текущую оперативную работу: собирать и обрабатывать сводки. Работа моя начиналась вечером, после ужина, когда статистики рабочих командировок оказывались готовыми к передаче сводок. Дозвониться до лагпунктов, особенно «Северного» и «Восточного» было трудно, слышимость очень плохая. Часто приходилось прибегать к помощи посредников, роль которых обычно выполняли телефонистки лагпункта «Северный». Итоговые данные, согласованные с Янгулатовым и Файерштейном, надо было в тот же день не позднее девяти часов вечера передать по телефону в Соликамск. В десять часов начиналась переключка, которую проводил начальник Усольлага полковник Тарасюк. К этому времени на письменном столе Макаренко должны были лежать все необходимые статистические материалы: данные о выполненных объёмах и производительности за день, с начала месяца, с начала года и перспективах выполнения плановых заданий. Оформляя материалы я широко использовал сопоставительные таблицы, диаграммы и графики, что очень нравилось Файерштейну, но, как я понял позже, раздражало Янгулатова.

Хотя материальная основа моего лагерного существования с переездом в Кушмангордский ОЛП практически не изменилась, и у меня от голода продолжало сосать под ложечкой, но настроение существенно изменилось. Дружба с Леной, благосклонное отношение Файерштейна и Макаренко придавали моей лагерной жизни некую устойчивость и надежность. И хотя меня не покидало чувство голода, и то и дело как временному работнику приходилось выходить на заготовку дров, была уверенность, что самое страшное позади, что в крайнем случае меня поддержат, не дадут погибнуть. Наверное, когда-то такое ощущение было у разорившихся дворян.

Наконец, была лёгкая и чем-то даже интересная работа, с которой я связывал надежду на надёжное лагерное существование.

Определенную положительную роль играла и общая обстановка в зоне, которая выгодно отличалась от той, с которой мне приходилось сталкиваться на других лагпунктах. Здесь было чище, больше порядка, во всех жилых бараках вагонки, постельные принадлежности. Совсем не видно доходяг. Мало уголовников. Зато много служащих и обслуги. В столовой иногда показывали фильмы, выступала культбригада.

Лагерная жизнь стала привычной и обыденной. Оказалось, что и на этом рабском уровне существования можно чему-то радоваться. Например, хорошему месту в бараке, чистой паре белья, пропечённой горбушке хлеба. Более того, я с удовольствием выполнял свою работу, не думая о том, что она подневольная. Постепенно возродился интерес к книгам, стихам, математике. Я как бы вновь обрел зрение. Видимая часть пространства расширилась, обрела краски, запахи. И, наконец, я заметил, что в зоне есть женщины. Жили они в двух секциях жилого барака. Работали в бухгалтерии, больнице, на кухне, в прачечной, мыли полы и убрали кабинеты начальства. Среди них много молодых, симпатичных. Они заметно выделялись среди лагерного населения зоны. И дело не только в том, что их бушлаты и ватные штаны были аккуратно подогнаны по фигуре, а из-под воротничков выглядывали нарядные шарфики. Главное - они улыбались! Не все, конечно, и не всегда, но улыбались! Боже мой! Сколько лет я видел только сумрачные, озабоченные, а часто просто озлобленные лица. И вдруг еле заметная, настороженная улыбка, напоминающая подснежник на протаявшей поляне.

Постепенно чувства подавлявшиеся голодом, унижением и страхом, вновь пробудились во мне. Меня неодолимо потянуло к женщинам, к общению с ними. Хотелось, видеть их улыбки, слышать их смех, разговаривать с ними. Нет, нет! не желание физической близости руководило мною тогда. Чувство, когда-то охватившее меня на 14-м лагпункте, к тому времени потеряло свою остроту и ушло на уровень подсознания. И теперь, как и прежде, хотелось отношений чистых, бескорыстных и возвышенных.

Не случайно, наверное, первой девушкой, с которой я познакомился, была вольнонаёмная телефонистка, работавшая на расположенном за зоной коммутаторе и поэтому совершенно недоступная для физического общения. У нее была странная, по видимому, белорусская фамилия Сорока. Неля Сорока. В вечерние часы она помогала мне связываться с лагпунктами и собирать

сводки. Ночью, когда её переставали тревожить вызовами, я читал ей стихи, пересказывал содержание прочитанных книг, делился мыслями о пережитом и, конечно, как когда-то с Ритой, страшно рисковал. Она, хотя и не была столь разговорчивой, рассказывала о своих проблемах. Её мягкий, грудной голос нравился мне. Слушая её, пытался представить, как она выглядит, какого роста, какие у нее глаза, сколько ей лет. Что думала она обо мне, каким представляла, не знаю. Этих вопросов мы избегали. О ней я знал только, что она комсомолка и живет одна с матерью. Увидеться нам удалось лишь через год.

Мое общение с женщинами не исчерпывалось ночными беседами с Нелей. Всю первую половину дня, свободную от работы в плановой части, я проводил в своем бараке. Как правило, в это время суток почти все его обитатели были на работе, и этим пользовались члены культбригады, проводя здесь свои репетиции. И тогда мне было уже не до сна. Я усаживался в своем закутке и, напуская на себя серьезный, сосредоточенный вид, начинал испускать стихами и формулами принесённые из плановой части длинные полоски бумаги. Конечно, здесь была рисовка. Люди подходили, заглядывали и, увидев длинную череду интегралов, почтительно хмыкали. И все-таки была не только рисовка. Каждый раз, когда они, разучивая новую пьесу, обсуждали замысел драматурга или компоновали программу концерта, меня охватывала тоска. Тоска о студенческих годах и учёбе. Хотелось обуздать безвозвратно ускользающее время, воспроизвести и закрепить хотя бы то небольшое, что осталось в памяти.

Здесь и состоялось мое знакомство с некоторыми участницами культбригады. На одну из них, Нинель Маниковскую, я обратил внимание уже на первом из посещённых мною концертов. Она хорошо пела и декламировала, особенно стихи любимых мною поэтов серебряного века, и, наверное, поэтому казалась мне утончённой и недоступной. Ближе и проще была другая участница культбригады - Верочка Миллер. Милое, круглое личико, огромные, черные и всегда печальные глаза, на дне которых таился страх. Ради того, чтобы лишний раз увидеть ее, я стал посещать культурно воспитательную часть (КВЧ). Там по вечерам вокруг чугунной печурки собирались члены культбригады. Разучивали песни, читали стихи. Из приоткрытой дверцы багровые блики выхватывали руки, лица. И забывалось, что мы в лагере, что вокруг сторожевые вышки, охранники с автоматами, натасканные на людей свирепые овчарки. Поздним вечером между болтовней с Нелей и обработкой сводок сочинял посвященные Верочке Миллер стихи.

На очередных встречах в КВЧ, не говоря ни слова, передавал их ей, как мне казалось, незаметно для других. Но это только казалось.

В один из морозных ноябрьских вечеров, незадолго до отбоя, когда в плановой части я остался один, зашла Нинель Маниковская. Прикрыв дверь, под села с столу и, наклонившись ко мне, почти шепотом произнесла:

– Забудь про Верочку, она подруга Лютцева, и твое ухаживание может плохо кончиться и для тебя, и для неё. Ведь он и так бьет её нещадно.

Этого я не знал. Федя Лютцев – нарядчик лагпункта, немец, отбывающий срок по бытовой статье, грубый, не выдержанный.

– Но не настолько же, чтобы бить хрупкую и беззащитную девушку, подумал я, но вслух ничего не сказал.

Нинель, откинувшись на спинку стула, с улыбкой глядела на меня. Льяные волосы, серые глаза.

– Ну, смотри, я тебя предупредила. Если с тобой что ни будь случиться, мне будет жаль.

С этими словами положила на стол два исписанных листа бумаги. Стихи. Стихи, написанные четким, разборчивым почерком, чем-то схожим с её манерой петь, декламировать, отчетливо выговаривая каждое слово. Стихи, как обычно, о любви, но написаны наскоро, с нарушением ритма и рифмы. Машинально начал править, не особенно вникая в смысл.

Что-то надо было говорить, но ничего соответствующего уровню гостя не приходило в голову. И в это момент позвонил телефон. Неля! Интересуется, почему я так долго молчу. Начинаю оправдываться, но голос меня выдает.

– Ты не один?

– Да.

Пауза. Кладет трубку. Теперь Нинель, казалось, обретя дополнительный интерес:

– Кто это?

Я отвечаю:

– Телефонистка!

– А почему у тебя такой голос?

– Какой?

– Какой-то странный. Что и здесь любовь?

Смеётся. Я вновь оправдываюсь:

– Ведь она вольнонаёмная, комсомолка.

Нинель, помолчав, продолжает:

– Между прочим, что ты там черкаешь? Письмо-то тебе. Прочтёшь, ответь, – и с этими словами вышла.

Звонко хлопнула дощатая дверь, потом глухо - входная, и я снова остался один. Один в тишине и растерянности. И было от чего растеряться: мне, серому и невзрачному, только-только выбравшемуся с самого лагерного дна, признавалась в любви сама Нинель Маниковская, примадонна нашего лагерного театра, такая гордая и недоступная, вокруг которой всегда было столько мужчин. Что могло это означать? Это не могло быть любовью. Никак не могло. Ничего во мне не было такого, что могло её привлечь. Что же тогда? Не материальный же расчет. Я сам сидел на лагерной пайке и постоянно хотел есть. И не было у меня никаких связей, которые могли бы быть ей полезны.

А она каждый вечер, когда из плановой части уходили Янгулатов и Фетисов, приходила, усаживалась на стоящий перед моим столом деревянный стул и рассказывала о своей лагерной жизни и судьбе многих других женщин, встречавшихся на ее пути.

Женщины в лагере. В те годы их крестный путь мало чем отличался от пути мужчин: арест, тюрьма, следствие, суд, этап, зона, общие работы и, наконец, истощение, которое часто кончалось смертью. Легче было тем, которые оказывались на командировках со смешанным составом заключённых. Здесь многим из них удавалось устроиться в службу, что по крайней мере гарантировало выживание, а некоторым даже более или менее сносное существование. Чаще всего такое лагерное благополучие достигалось ценой связи с мужчинами. Возникала такая связь, как и на воле, многими путями и далеко не всегда была следствием домогательств или насилия со стороны мужчин. Этому не мешало и то, что у многих из них на воле были мужья, дети. Трудно было судить их за это. Ведь для большинства из них, да и для мужчин тоже, лагерь был не временным, мимолетным явлением, а большим отрезком жизни. Поэтому если мужчина был молод, не измотан тяжёлым физическим трудом и голодом, то его тянуло к женщине. И если такая оказывалась рядом, то появлялось чувство, а возможно, и любовь. Не были лишены подобных чувств и женщины, у которых к ним примешивалось желание найти в лице мужчины хоть какую-то защиту и помощь. Сказывалось и то, что женщина, не имеющая такого покровительства, не являющаяся чьей-либо «лагерной женой», становилась объектом постоянных домогательств со стороны наиболее агрессивной части мужского лагерного населения.

Однако путь к сближению был тернист и опасен, особенно если возникающая связь предполагала не простую мимолетную физическую близость, а содержательное человеческое общение, взаимную заботу и тем более настоящее чувство. Объективно режимные правила были направлены, прежде всего, именно против таких связей, ибо они легче всего обнаруживались. Нарушение лагерного режима в этой его части наказывалось карцером или, в особенно «злостных», с точки зрения начальства, случаях, тем, что провинившихся и, прежде всего женщин отправляли этапом на другие лагпункты, где для них все начиналось сначала. Особенно тяжело было тогда, когда разрывались глубокие, основанные на любви, связи. Тогда смешивались в один клубок недоедание, непосильная работа, тоска и раскаяние, а иногда и ревность.

К сожалению, извечное стремление здоровых и не обременённых физическим трудом и недоеданием мужчин к любви принимало в лагере зачастую уродливые, унижительные как для женщин, так и для мужчин формы. Когда приходил женский этап, особенно этап женщин, не бывавших еще в лагере, за зоной и в зоне наступало оживление. За зоной вольнонаёмное начальство и офицеры ВОХР высматривали для себя «домработниц» и «нянь». Иногда, чтобы не ошибиться в выборе, устраивали «медосмотры», прогоняя перед столом комиссии раздетых догола женщин.

Затем, уже по другую сторону вахты, вновь прибывших встречали комендант, нарядчик, бригадиры, представители бухгалтерии. Принять этап - их служебная обязанность. Здесь же начальник КВЧ, подыскивающий кандидатов для культбригады и для себя лично. Несколько поодаль толпа любопытных. Некоторые приходили сюда в надежде встретить землячек, другие – чтобы узнать новости с воли, третьи – чтобы подобрать подружку. Нет, они не кидались на пришедших. Многие хотели просто помочь, поддержать. Вечером к бараку, в котором размещались вновь прибывшие, по одному, а иногда группами, кто робко, а кто самоуверенно, с видом хозяина, тянулась мужская часть лагерного населения. При выборе соблюдалась субординация. На женщину, приглянувшуюся нарядчику или коменданту, как правило, не могли претендовать ни бригадир, ни десятник, за исключением, конечно, уголовных авторитетов. После того как объекты были выбраны, начиналось «знакомство» и «ухаживание». Многие женщины, измученные свалившимися на них несчастьями, напуганные рассказами бывалых лагерниц, а иногда и просто голодные, уступали уговорам и шли на сближение. Некоторые сопротивлялись. Как правило, их отправляли на общие работы, после чего, познав все ужасы

лесоповальных работ, они становились податливее. Близость, добытая такой ценой, не всегда оказывалась женщине в тягость. Более того, некоторые из них со временем начинали ревновать своих новых «лагерных» мужей.

Маниковская считала, что все это мало чем отличалось от того, что постоянно происходило на воле. Только в лагере все было острее и обнажённее, все на виду у других. С людей сдиралась оболочка условностей, а сами они приводились в тесное соприкосновение: были сжаты, спрессованы как во времени, так и в пространстве. В наших длинных беседах Нинель упорно отстаивала тезис: в основе поведения людей лежит половое влечение и социальное неравенство. Даже поэзия и музыка, по ее мнению, были для людей не более чем средством привлечения лиц противоположного пола, чем-то вроде аромата цветка или пения птиц.

– Вот зачем ты сейчас прочел мне эти стихи? – спокойно вопрошала она.

– Просто они мне нравятся, я люблю Тютчева и мне хотелось сделать тебе приятное, – отвечал я.

– Вот, вот! Сделать мне приятное! А для чего? Для того чтобы уговорить меня? Но ведь я и так давно согласна и дело только за тобой!

И так каждый раз. О чем бы мы ни говорили, какие бы возвышенные и поэтические вопросы ни обсуждали, она все ухитрялась свести к половому вопросу. Нинель, безусловно, была не только красива, но и умна. Говорить с ней было интересно, а спорить трудно. Однако настойчивость, с которой она вела наши отношения к физической близости, обескураживала меня. Это так не вязалось с образом, который я себе нарисовал. В моём сознании все двоилось. Казалось, что она просто притворяется. Трудно было понять, когда она настоящая: когда проникновенно читает стихи или когда говорит пошлости. Шаг за шагом распадался, разрушался созданный воображением образ прекрасной незнакомки. Чистейший нравственный стриптиз. Чтобы привыкнуть к этому, нужно было время. Но чем настойчивее она была, тем меньше нравилась мне.

До сих пор со стыдом и содроганием вспоминаю темную, заброшенную комнатку, напоминавшую чулан, торопливо расстеленную на грязном полу телогрейку и на ней Нинель. Я стою перед ней на коленях, бешено бьется сердце и никаких, ровно никаких чувств, никакого влечения. Только стыд и обида, и понимание, что из этой её затеи ничего не выйдет. Вот так, в грязи, второпях, прислушиваясь к голосам и скрипу половиц ... Нет, преодолеть себя я

не смог. Нинель была в бешенстве, а я обескуражен и оплётан. Недели две мы не виделись. На субботние концерты я не ходил. Возобновились мои безобидные телефонные разговоры с Нелей. На дне же души затаилось, иногда ворочаясь, что-то тёмное и лохматое.

Во второй половине декабря Нинель сделала вторую попытку. Вечером пришел дневальный и сказал, что меня просит срочно придти начальник КВЧ Воробьёв. Ничего не подозревая, захожу. В комнате полумрак, в чугунной печке весело потрескивают дрова, на кушетке (была такая в КВЧ) полулежит Нинель. Воробьёв, наскоро поздоровавшись, выходит и запирает дверь снаружи. Я всё понял, и злость охватила меня. Как она могла посвятить в это дело Воробьёва! Вот, наверное, потешались надо мной!

Нинель с нескрываемой усмешкой:

– Ну вот, теперь, кажется, все условия созданы. Как в лучших домах. Правда, нет свечей и камин примитивный.

Пауза. Я упорно молчу, собираюсь с мыслями. Помолчав, она продолжает:

– А я вот и в баню ходила, и халатик надела.

В её голосе вызов и насмешка. Я возмутился:

– Ведь мы все выяснили. Ты убедилась, я плохой любовник. И вообще мы по-разному понимаем смысл наших отношений. Ты все сводишь к физической близости. А теперь даже подключила к этим делам и Воробьёва. И как ты могла решиться на это?

Нинель, прореагировав только на последний вопрос:

– Ну и что? Думаешь, это ему впервой!

– Да, я представляю! Наверное, и тебе такую услугу оказывает не первый раз?

Произнося эту фразу, вкладываю в нее весь сарказм, на который только способен. Ответ следует незамедлительно:

– Конечно! И уверяю, никто не тратил драгоценное время на глупые разговоры, как это делаешь ты. Может быть, еще и стихи считаешь? Или спеть тебе что-нибудь?

В словах её прямая насмешка. Она сидит, откинувшись, халатик распахнулся, белые колени освещает пламя, а лицо в тени и мне не разглядеть её глаз.

Трудно передать чувства, овладевшие мной. Сквозь обиду, гнев, возмущение пробиваются совсем другие чувства и желания. Сброшена вуаль таинственности и очарования. Кончилась раздвоенность. Передо мной зрелая женщина; женщина зовущая, манящая, обещающая еще неизведанное мною блаженство. И эти

белые, атласные колени и огненные блики на них. Я чувствовал, что теряю рассудок, что готов на близость без любви.

И в этот момент её раздраженный голос:

– Ну, и долго мы будем так сидеть? Учти, нам на всё отпущено полчаса. Чего тебе ещё не хватает? Музыка? Так это я с удовольствием, да только нельзя, услышат. Ведь считается, что здесь никого нет.

И вдруг совершенно изменившимся голосом:

– Робочка, дурачок! Что тебя так мучает? Боишься заразиться? Так напрасно, я только что прошла проверку.

И немного помолчав, почти просительно:

– Только никому не говори, что у нас ничего не состоялось. Меня засмеют, да и тебя тоже.

Так мы и расстались: она утром с культбригадой уехала на гастроли по лагпунктам ОЛПа. Меня же закрутили служебные дела.

В круг моих обязанностей помимо сбора, обработки и передачи информации входила так же сверка статистических данных с данными бухгалтерского учета. В ходе таких сверок и согласований познакомился с главным бухгалтером ОЛПа. Им в то время был Вебер Яков Яковлевич, крупный, крепко сбитый, спортивного сложения мужчина лет пятидесяти. Породистое лицо, твёрдый, волевой подбородок, карие глаза. Небольшой шрам на правом веке придавал его облику некую пикантность. Всегда аккуратен, подтянут. Ходил в галифе, сапогах и военной гимнастерке с широким офицерским ремнем. В прошлом до ареста крупный армейский финансовый работник.

Когда промфинплан был сверстан и потребность во временном работнике закончилась, меня, по предложению Якова Яковлевича, перевели в бухгалтерию ОЛПа. Там меня определили в производственную группу, которую возглавлял сын начальника ОЛПа - Иван Макаренко. Был Иван очень красивым молодым человеком: тёмные волосы, карие глаза, стройный, гибкий стан, обворожительная улыбка. Однако был у него дефект - парализованная и усохшая левая рука. Несмотря на этот недостаток, его очень любили женщины. Он это знал и этим пользовался. Ему явно было не до работы. И он её охотно передоверял сослуживцам.

Всего в бухгалтерии ОЛПа, не считая главного бухгалтера, работало двенадцать человек, в том числе, в материальной группе пять человек, в расчётной группе четыре человека, в производственной группе три человека. Все, кроме Макаренко, заключённые, в большинстве своем осуждённые по политическим статьям. Все, кроме меня, знающие, опытные работники. Один я - новичок, кото-

рого никто не собирался, да и не имел возможности учить. С технологией бухгалтерского учета знакомился на ходу и по старым отчетам. Положение мое осложнялось постоянным отсутствием Ивана Макаренко, а также стремительным приближением годового отчета, когда на производственную группу падала наиболее сложная и ответственная часть работы: закрытие производственных счетов, определение себестоимости работ и продукции, составление калькуляций, баланса и многочисленных отчетных форм.

В те годы основным инструментом бухгалтерской деятельности были счёты, картотеки и система мемориально-ордерного управления. Старшие бухгалтера групп, обработав документы (ведомости, счета, акты и т.д.), писали мемориальные ордера (проводки), в которых указывали, с каких счетов и на какие надо перенести указанные в документах суммы. Потом эти мемориальные ордера с подшитыми к ним документами пускали «по кругу»: от одного бухгалтерского стола к другому. Бухгалтера и счетоводы разносили относящиеся к их счетам суммы по карточкам в разрезе материально ответственных лиц и видов производства.

Мне эта система нравилась, и я ею быстро овладел. Уже в конце января, по существу самостоятельно, закрыл относящиеся к нашей группе счета и составил все положенные калькуляции. Яков Яковлевич, довольный моей самостоятельностью и достигнутыми результатами, относился ко мне как к сыну: заботился, помогал материально, наставлял. С февраля месяца пригласил жить к себе в кабинку. Питались мы вместе, выписывая причитающиеся нам продукты сухим пайком. Под его защитой я мог полностью отдаться работе. И я работал с раннего утра до позднего вечера. По вечерам, в дни дежурства Нели, звонил ей, но разговоры наши были уже не столь продолжительными и откровенными, как прежде. Рана, нанесенная мне Маниковской, затягивалась медленно.

Хорошие отношения складывались у меня и с Иваном Макаренко. Под его покровительством я мог не бояться общих работ. Вскоре через отца он добился для меня разрешения носить прическу, что было признаком очень высокого положения. Состав бухгалтерии был довольно пёстрым. Заключённые с разными статьями, сроками и характерами. С одними из них мне было легко и просто, с другими отношения складывались труднее. Сейчас, вспоминая те годы, с сожалением осознаю, как мало я знал о жизни большинства из них за пределами служебного помещения и, тем более, о их прошлой долагерной жизни.

Близкие отношения сложились у меня с молодыми работниками бухгалтерии, заключёнными уже послевоенного «призыва»:

Ефимом Нестеруком, Васей Середой и Васей Шиндиным. Связь с ними я поддерживал и после освобождения.

Ефим Нестерук, или просто «Ефимчик», – выходец из западной Украины, был на два-три года моложе меня. Арестовали его еще мальчишкой за то, что по поручению взрослых носил в лес бендеровцам еду. Судили его по статье 58-1б и дали 10 лет. За круглую, лунообразную физиономию звали его в узком кругу друзей «Рашкой». Лицо белое, нежное, с ярким румянцем - такие лица рисуют матрёшкам. Был он по-юношески открыт и непосредственен, часто вспоминал свою деревню, отчий дом, но от разговоров о бендеровском движении уклонялся. Насколько я мог понять, там среди них были и его родственники, возможно, даже отец. В лагере о таких вещах расспрашивать не принято. Я даже не знаю, окончил ли он среднюю школу. Во всяком случае, был он не очень начитан, не очень склонен к теоретическим рассуждениям, зато по-крестьянски расчётлив и практичен.

Вася Серeda - красивый, ловкий парень. Белорус. Воевал. После демобилизации, вернувшись в родное село, отбил у местного оперуполномоченного невесту, а потом бросил её. Судя по его рассказам, любил Вася погулять в компании друзей и подружек. В одну из таких гулянок, когда у них не хватило закуски, они, как выразился Вася, «прихватили» у его дяди кабанчика. Дядя, не зная, что это проделка его племянника, заявил о краже в милицию. Потом, когда все выяснилось, и дядя хотел забрать свое заявление, оперуполномоченный воспротивился. Васю судили и по указу от четвёртого-шестого дали 10 лет. Так ли это было на самом деле, я не знаю, но, судя по характеру Васи, это похоже на правду. Был Вася на пару лет старше меня и значительно опытнее, особенно во всём, что касалось женщин. Неизменный успех у них делал его самоуверенным и нагловатым. Он открыто смеялся над моей сентиментальностью и назло мне, стремясь разрушить романтические представления о женщинах, соблазнял их, а потом бросал. На этой почве мы часто ссорились.

Вася Шиндин - бывший начальник финансовой части одного из подразделений кораблей балтийского флота. Получил 10 лет за то, что на торжества, посвящённые дню Победы, по указанию своего начальства выделил значительно больше денег, чем это было предусмотрено инструкцией, списав их на ремонт кораблей. Потом всю вину принял на себя, за что благодарные начальники слали ему богатые посылки. Его внешний вид почему-то напоминал мне английских моряков. Удлиненное аскетическое лицо, на щеках щетина, нечто вроде бакенбардов, в зубах трубка. Не хватало только

кителя и плаща. В Ленинграде у него оставалась красавица жена, сын, прекрасная квартира, богатая библиотека. Был он начитан, образован, интересен в общении. Но, как это в таких случаях часто бывает, злоупотреблял спиртным. Где и как он его доставал, не знаю, но частенько приходил на работу под градусом. Оправдываясь, уверял, что небольшая доза водки только повышает качество его работы. Эту теорию опроверг поставленный нами эксперимент: выпив «всего» сто граммов водки, он при «сбивке» контрольного журнала, допустил три ошибки, чего в трезвом состоянии с ним никогда не бывало. Это его огорчило, но пить он, конечно, не перестал, и мне частенько приходилось его выручать.

Сложнее других складывались мои отношения со старшим бухгалтером материальной группы - Аркадием Федосеевичем Гайдаенко. Одессит. Опытный, знающий бухгалтер. Он болезненно переживал мое неожиданное выдвижение. Считал себя незаслуженно обойденным. На первых порах, проверяя меня, писал провокационные проводки, списывая на производственные счета материалы, расходуемые на капитальное строительство, или используя неправильную корреспонденцию счетов. Потом, попивая крепко заваренный чай, и, пряча усмешку в свои густые чёрные усы, наблюдал за моей реакцией.

Наибольшим уважением в нашем бухгалтерском коллективе пользовался Василий Васильевич Федосеев, отбывавший по политическим статьям уже третий срок. Первый раз он отсидел три года еще в царское время за активную революционную деятельность. Затем, в первые послереволюционные годы, восемь лет на Соловках за то, что состоял не в той партии, в какой надо. И, наконец, в 1938 году получил свою очередную десятку за какое-то неосторожное высказывание. Было ему далеко за шестьдесят, он многое повидал, испытал и был для всех нас ходячей энциклопедией лагерной жизни. Иногда по вечерам, после окончания рабочего дня, в узком кругу друзей он читал хрипловатым голосом старые лагерные стихи. Одно из них мне особенно нравилось:

За полярным кругом, в стороне чужой
Черные, как уголь, ночи над землей.
Волчий голос ветра не дает уснуть
Хоть бы луч рассвета в эту мглу и жуть
. . . и т.д.

По-видимому, под впечатлением этих «литературных» вечеров я и задумал написать ни много - ни мало поэму о судьбе де-

вушки в лагере. В её основе был рассказ Маниковской о судьбе её лагерной подруги. Была она ещё совсем молодой, свежей, жизне-радостной. Только что окончила школу. Её школьный друг, которого она беззаветно любила, и который отвечал ей тем же, ушел на фронт. Она устроилась работать, и что-то там сказала недозволенное. Ей дали десять лет и отправили в Усольлаг. Там, на Колвинском ОЛПе, они с Маниковской и встретились. С первых же дней их начал обхаживать комендант лагпункта. Они упорствовали. Их направили на лесоповал. Через неделю - вторая попытка и снова отказ. Тогда их продержали на общих работах несколько месяцев, доведя до полного истощения. Они потеряли вид, внешнюю привлекательность, перестали представлять интерес не только для коменданта, но и для более мелких лагерных придурков. Наконец, Маниковскую «подобрал» (так она выразилась) художник из КВЧ, а её подруга, не получая писем от своего любимого и решив, что он погиб, уступила домогательствам бригадира. Потом, после того как последнего отправили на другую командировку, она досталась его сменщику, который вскоре переуступил её расконвоированному экспедитору. А в это время её любимый, демобилизовавшись, решил проведать подругу. Добившись разрешения на свидание, он отправился в далёкий путь. На его последнем участке словоохотливый шофер трёхтонки в разговоре с попутчиком, не подозревая, куда и зачем тот едет, поведал ему о жизни, которую вела его девушка. Оскорблённый до глубины души офицер на свидании надавал ей по щекам и, не выслушав никаких оправданий, уехал. Несчастливая же, вернувшись в барак и воспользовавшись отсутствием дневальной, повесилась. Вот эту нехитрую и такую характерную для лагеря историю я и попытался запечатлеть в стихах. Поэма была наивной и технически слабой, однако пользовалась успехом среди моих друзей. Помню из нее только начало и несколько коротких отрывков.

В глухой тайге средь пней, валёжин,
В суровый холод, снег, пургу
Пилила ты в худом бушлате,
По пояс в ледяном снегу.

Рука, застыв, лучок сжимает.
Скрипит пила, скрипит, скрипит,
А в мыслях хлеб и мучит голод,
И ветер соснами шумит.

Как помню, из лесу с работы

Ты шла, усталая, домой,
Из глаз опухших и отёкших
Слеза бежала за слезой.

То были слезы истощенья
Глухой тоски и горьких дум
. . . и. т.д.

Когда при очередном обыске старший надзиратель, лейтенант Терков обнаружил в ящике моего конторского стола листки с этими стихами, я понял, что близок к тому, чтобы получить дополнительный срок за клевету на советскую действительность. Лейтенант меня недолюбливал. И было за что. Не в пример своим сослуживцам, был он начитан. Очень этим гордился и в своем стремлении показать, что и среди работников МВД есть люди, знающие литературу, дошел до того, что однажды у нас в бухгалтерии начал читать стихи. К моей беде он путал авторов, а иногда и сам текст. Естественно, я не мог сдержаться и сделал поправки. Это его разозлило, и он стал искать случая, что бы придрататься ко мне и, конечно, легко мог бы меня по любому пустяковому поводу упрятать в изолятор, но этому мешало покровительство, которое оказывал мне начальник ОЛПа. Особенно же злила его записка, в которой чёрным по белому было написано: «Заключенного Р.А. Майера не стричь. Макаренко».

Теперь ему представился благоприятный случай мне отомстить. В этой критической ситуации я решил воспользоваться его репутацией знатока литературы. На его вопросительно-торжествующий взгляд я, сделав наивное лицо, сказал:

– А что? Разве Некрасов запрещен? В бухгалтерии повисла тревожная тишина, только потрескивали дрова в печке. Капитан смутился, повертел листки в руках и, положив их на стол, сказал:

– Отчего же, конечно, можно, – и, помолчав, добавил, то-то стихи показались мне знакомыми.

Когда он вышел, все наперебой начали предлагать, куда перепрятать листки. Но я, ни минуты не колеблясь, сунул их в печку и с облегчением смотрел, как в огне, чернея, сворачиваются исписанные листы бумаги. И правильно сделал. Не прошло и часа, как лейтенант вновь появился в бухгалтерии, теперь уже в сопровождении дежурного надзирателя. Подойдя к моему столу, он со словами:

– Что ты мне морочишь голову, о какой такой трехтонке мог писать Некрасов! – потребовал листки. Узнав, что я их сжёг, страшно разозлился, устроил поголовный и тщательный шмон. Но,

естественно, ничего не нашёл. Меня после этого раза два вызывали к оперуполномоченному («куму»). Только заступничество Макаренко спасло меня от официального следствия.

У Лёни Свиридова дела на Головной шли далеко не столь успешно. И причин тому было несколько. Прежде всего, проблема производственного характера. Штат сплавной конторы был довольно большим. Помимо старшего бухгалтера, бухгалтера и двух счетоводов, несколько десятков бракеров, учетчиков. Во всем, что касалось технической стороны дела, бракеры и учетчики подчинялись техноруку сплавного рейда Калиновскому Аркадию Петровичу, а в вопросах учета и документального оформления – старшему бухгалтеру, т.е. Свиридову. Такая раздвоенность сферы подчиненности вела к частым недоразумениям и конфликтам. Аркадий Петрович, несмотря на то, что был заключённым и отбывал срок по политической статье, пользовался большим авторитетом и властью, которые основывались, с одной стороны, на его высокой квалификации, а с другой – на особенностях характера. Был он жёстким и требовательным человеком, а в достижении поставленной перед ним цели даже жестоким. Рассказывали, что провинившихся мастеров, бригадиров, десятников и бракеров зимой в своем кабинете в зимней одежде ставил к жарко натопленной печи и держал их по стойке смирно по несколько часов. Естественно, что он настойчиво добивался полного подчинения себе всех работников сплавной конторы, включая и самого Свиридова. Лёня же со своей стороны, опираясь на положение о старших бухгалтерах, отстаивал своё право на контроль над деятельностью Калиновского, совершавшего, по его мнению, много незаконных операций.

Конфликт разгорелся не на шутку. В него втянулся и руководящий состав ОЛПа. Калиновского поддерживал Макаренко и Фарштейн, Свиридова - Вебер и Янгулатов. Силы были слишком не равны. Большинство «махинаций» Калиновского было направлено на выполнение плана любой ценой и поддерживалось начальством. Однако свою поддержку они прикрывали разговорами о необходимости соблюдения государственной финансовой дисциплины. У Якова Яковлевича оставалось одно средство: закрепить в приказе по ОЛПу материальную и финансовую подконтрольность Калиновского перед бухгалтерией ОЛПа в лице её представителя, ст. бухгалтера сплавной конторы.

Определённые трудности создавал и Зуев, которого Лёня сменил на посту ст. бухгалтера сплавной конторы. Здесь война велась тихая и незаметная для постороннего, но от этого не менее изнуряющая.

К этим двум проблемам добавилась еще одна, личного свойства. Лёня, который был лет на десять старше меня и поэтому казался мне уже не способным на юношескую увлечённость и романтику, влюбился. Объектом его любви стала некая Нина Терещенко. Каждый раз, рассказывая мне о своей жизни и изматывающей борьбе с Калиновским, он неизменно скатывался к разговору о Нине. Она ему представлялась измученной, задержанной преследованиями ухажёров, среди которых основную роль играл нарядчик головного лагпункта Давид Андреевич Руди - поволжский немец, бывший прокурор одного из кантонов Поволжья, осужденный по статье 58-1а на 10 лет. По рассказам Лёни, Давид Андреевич преследовал Нину, добиваясь взаимности. В этих устремлениях его поддерживал опять-таки Калиновский, что придавало извечному любовному треугольнику особую напряжённость, если не драматизм. По мнению Лёни, Нина тяготилась ухаживанием Давида Андреевича, тем более, что последний был еще и лет на пять старше Лёни и внешне, мягко говоря, был не очень привлекателен. Зато у Давида Андреевича были большие возможности воздействовать на Нинину жизнь. Он мог, например, направить её не в сплавную контору, а на общие работы или даже включить в этап на другую командировку. Противодействовать этому Лёня не мог. Единственный путь - сдаться на милость победителя и просить Калиновского о защите.

Проблемы, в которых запутался Лёня, стягивались в тугий узел, и от этого, по его словам, больше всего страдала Нина. Поэтому, зная о моём укрепившемся положении в ОЛПе и покровительстве, оказываемом мне Иваном Макаренко, просил приехать к нему, познакомиться с Ниной и оказать ей помощь. Он был уверен, что если я с ней познакомлюсь, то не смогу отказать в этой просьбе.

– Сделай это не для меня, а для неё. Пусть она сама решает, как ей быть, но вырви её из паутины, в которую все туже и туже запутывают её, - просил он. Естественно, я пообещал сделать всё, что в моих силах. Вся эта ситуация служила прекрасной иллюстрацией тому, о чем в своё время рассказывала мне Маниковская. И теперь создавалась возможность принять участие в борьбе с этим злом. Но хватит ли у меня сил для противоборства с Калиновским и Руди? В этом я не был уверен.

В конце апреля 1946 года создалась благоприятная обстановка. Яков Яковлевич с согласия Макаренко направил меня на Головную, якобы для ревизии, а на самом деле для выработки с Лёней документа о статусе сплавной конторы как подразделения

центральной бухгалтерии ОЛПа. Поручение было не простым, и в некотором смысле опасным.

И вот, переполненный значимостью своей миссии, иду я по лесной дороге. За спиной охранник. Впереди вахта Головного лагпункта, где меня, наверное, уже ждет Лёня со своими трудноразрешимыми проблемами.